

## **Представления об “исследовательской свободе” в самоописании российских культурологов.**

### *Введение*

Предлагаемая статья затрагивает проблематику не столько власти, сколько ее прямой противоположности – “свободы”. В данном случае речь пойдет, впрочем, о власти и свободе не в политическом смысле, а в другом, интеллектуальном. Стоит задаться вопросом, насколько “свободным” хочет и пытается считать себя исследователь (в частности, российский культуролог), когда пробует дистанцироваться от непосредственного предмета своих исследований и, выйдя на некоторый метауровень, осознать степень своих согласия и конфронтации с существующими (или воображаемыми) практиками научного сообщества. В рамках этой постановки задач научное сообщество является пространством, которое пронизано “властью” ничуть не меньше, чем любое политическое. Проблема не ограничивается только принуждением к какой-либо деятельности или бездействию. “Власть” стоит не только за определенными, вполне зримыми и материальными, институтами разделения труда, распределения грантов и циркуляции “символического капитала” среди коллег. Применительно к сферам преподавания и научного исследования становится гораздо более ощутимым давление еще одной формы власти. Речь идет о принудительности думать одними способами и не думать иначе, считать логичными, корректными и плодотворными одни постановки задач и способы решений и пренебрегать другими. В этом своем выборе исследователи опираются на уже освященные опытом традиции и правила. Как и внутри любой политической системы, в этой системе власти тоже зреют, готовятся, происходят и терпят крах свои исследовательские перевороты, революции и реформы. Проблематика и риторика “исследовательской свободы” значима не только применительно к открытию новых архивов и сюжетов. Эта постановка вопроса столь же уместна и на более абстрактном, гносеологическом уровне. Как правило, “исследовательская субъективность” находит апологию, формы которой направлены против более заинтересованных в легитимации и сохранении установленного порядка сциентистских и догматических дискурсов. В данной статье речь пойдет именно о том, какое место занимает и какую функцию выполняет это представление о “свободе исследования”. Достаточно

своеобразным и привлекательным для анализа полем являются тексты, в которых демонстрируется логика размышлений и саморепрезентации российских культурологов, осознающих себя представителями новой научной программы. Размышление об этой проблеме возможно только на фоне еще одной, более широкой, темы. Необходимо указать на хотя бы основные моменты самоидентификации российской культурологии. В частности, особое значение имеют ее коренящиеся глубоко в отечественной интеллектуальной традиции стремления предоставить универсальный гуманитарный синтез. Поэтому статью придется начать с характеристики некоторых “ключевых слов” этой области (таких, как “междисциплинарность”, “марксизм”, “любомудрие”). Проблематика существования культурологического дискурса в более традиционном поле власти, связанном с изменениями в технологии деятельности ученого и в социологии научного сообщества, также заслуживает внимательного рассмотрения. Однако в рамках данной статьи эти темы будут, скорее, лишь намечены, чем серьезно исследованы.

Следует сразу сказать несколько слов о характере и методе следующего ниже текста. Он совершенно не претендует на то, чтобы быть уже взвешенным научным обобщением некоторого эмпирического предмета. Таковым не являются ни, например, высказывания российских культурологов по поводу исследовательской субъективности, ни взаимосвязь этих высказываний с существующими структурами политического или интеллектуального принуждения. В той ситуации, в которой пребывает российская культурология, когда статус (даже юридический) ее не определен, а очертания круга представителей и корпуса разделяемых положений достаточно размыты, целесообразно вначале выполнить иную задачу. Для того чтобы впоследствии можно было плодотворно работать с эмпирикой, нужно сперва построить *идеальный тип*, некоторую утрированную, но понятную в своей механике модель. Она окажется первым приближением в объяснении того, как смысл “свобода исследовательской деятельности” уместается в более общих контекстах мысли российских культурологов. Связан ли этот смысл с важнейшими способами самоописания культурологии (как-то: междисциплинарность, синтетический подход, антропологическое и экзистенциально значимое содержание), или же существует сравнительно независимо? Выполняет ли представление о “свободе исследования” функцию

реального или тем более объединяющего тезиса, к осуществлению которого следует стремиться, или же используется в качестве безобидной риторической фигуры, набивающей цену собственным построениям и претендующей на отражение атак “косных” недоброжелателей? Полностью ли и с достаточной ли ответственностью осознаются те импликации, которые влечет за собой принятие тезиса об “исследовательской свободе”? Мне представляется, что на данный момент рассуждение на эти темы должно быть именно рассуждением, эссе, логическим конструированием<sup>1</sup> возможных вариантов объяснения, а не скрупулезным анализом якобы уже опознанных и вполне доступных для интерпретации фактов. В попытке выявить и даже “логически усилить” наличествующие в дискурсе российских культурологов тенденции, я намерен остановиться на шести следующих сюжетах: 1) стремление к синтезу и универсализм как ключевые категории самоидентификации российской культурологии; 2) преемственность этих характеристик российской культурологии от марксистской исследовательской традиции и от некоторых форм дореволюционного русского философствования; сохранение определенных рудиментов этой преемственности у нынешнего поколения “молодых культурологов”,<sup>2</sup> во многих отношениях наделенных традиционными признаками отечественной интеллигенции; 3) распространенность заявок об “исследовательской свободе” в текстах культурологов (в особенности это характерно для тех, кто только начинает свою научную социализацию и поэтому вынужден утверждать идентичность своей интеллектуальной деятельности самыми размахистыми мазками; эти же исследователи, как правило, пережили более интенсивное воздействие западных интеллектуальных веяний, нередко прочитываемых как релятивизм); 4) функции тезиса об “исследовательской свободе” в дискурсе российской культурологии, степень его реализации в практике культурологического исследования; 5) взаимосвязь характеристик этого тезиса и способов его функционирования с изменениями в технологии и социологии академической деятельности; 6) попытка специфицировать различные оттенки представления об “исследовательской свободе” и уточнить варианты его использования в зависимости от подразумеваемых импликаций.

*Тенденции самоидентификации российской культурологии. Преимущество традиционными установками российской и советской гуманитарной интеллигенции в надежде осуществления “универсального синтеза”.*

Выражение “российская культурология” (тем более, если пытаться уловить логическую идею, некоторую характеристику определяющих это интеллектуальное поле тенденций) может нуждаться в пояснении.<sup>3</sup> Если сопоставлять “культурологию” с соответствующими по этимологическому замыслу нероссийскими аналогами, допустим, с “cultural studies” или с “Kulturwissenschaften”, то будут достаточно очевидны некоторые значимые отличия. Например, в случае с “cultural studies”, заметно, что они, как исследовательское направление, обладают вполне четко обозначаемыми методологическими и предметными контурами. Это происходит не столько из-за сравнительно почтенного возраста “cultural studies”, сколько благодаря их гораздо более скромным амбициям. Отчетливо ориентируясь на конкретные области исследования и несколько реже на выяснение нового об эпохе и пространстве интерпретатора, “cultural studies” вовсе не имеют в виду перспективы общего синтеза истории культуры и уж тем более не пытаются его произвести. По-моему, это можно отнести и к немецкому понятию “Kulturwissenschaften”. Номинально оно объединяет в своих границах всю совокупность того, чего хотелось бы русской культурологии. Однако “Kulturwissenschaften” не претендуют на выражение содержательного, сущностного единства этой совокупности (во всяком случае, больше, чем это допускает самое общее неокантианское представление о “культуре”).

По сравнению с тенденциями западной гуманитарной мысли, основная специфика “самоидентификации” российской культурологии состоит в желании представлять собой синтез и координацию других исследовательских практик. Чрезвычайно значимое для самовосприятия российских культурологов слово “междисциплинарность” едва ли используется их большинством в своем узком значении технического сочетания заимствованных из различных отраслей гуманитарного знания подходов.<sup>4</sup> Гораздо чаще подразумевается, что за междисциплинарностью стоит некая достаточно высокотеоретическая, склонная к рефлексии и способная к открытию универсального понимания оптика. Являясь скорее синтезом, чем пересечением, эта оптика должна поднять анализ явлений культуры над односторонностью предыдущих исследовательских

подходов.<sup>5</sup> Споры о приоритетах при (будущем) осуществлении этого синтеза, о необходимости отдавать предпочтение антропологическим (в смысле социальной антропологии или гуманистического воспитания), системным, цивилизационным или каким-нибудь еще подходам, еще недавно велись достаточно серьезно.<sup>6</sup> Однако независимо от конкретного варианта и сопутствующих его выбору оговорок, намерение предложить универсальный рецепт осмысления и упорядочивания явлений культуры достаточно очевидно. Б.Е. Степанов весьма удачно сопоставляет этот момент в самовосприятии российской культурологии со “старой доброй русской “софийной” метафизикой” и даже применяет к ней термин “мессианизм”.<sup>7</sup> Пожалуй, при беспристрастном отношении и к культурологии, и к дореволюционной русской мысли, такая характеристика покажется вполне уместной.

Общепринято указание на то, что этот универсализм не был транслирован в культурологию непосредственно из традиций специфически русского “любомудрия”. Вера в возможность объяснить культурное многообразие при помощи небольшого числа всеобщих законов и принципов очень прочно закрепилась в российской интеллектуальной традиции. Это произошло благодаря эпохе господства марксизма, который, приятно нам признавать это или нет, в очень большой мере стал стандартом нашего представления о том, что такое теория, и что она может и должна делать. При всей праведности гнева многих российских культурологов в адрес теории и практики марксизма, от новой гуманитарной дисциплины нередко (сознательно или неосознанно) ждут того, что она займет нишу бывшего исторического материализма. Если судить по определениям предмета культурологии во введениях к соответствующим учебникам, то нетрудно подобрать цитаты, свидетельствующие о том, что в ней хотят видеть и компендиум знаний (в позитивистском смысле философии как обобщения наук),<sup>8</sup> и универсальный метод, способный свести все возможные предметы к некоторой единой матрице.<sup>9</sup> При этом сами культурологи видят множество методов, каждый из которых может доминировать при создании вожделенного тотального синтеза. Однако, пожалуй, что именно это разноголосие и является для “власть имущих” привычным и доказательным критерием того, что культурология не справляется со своей задачей. Похоже, что тот или иной министр, фонд, ректор приветствуют или осуждают “культурологию” в зависимости от того, удовлетворительно ли она, с их точки

зрения, замещает всеобъясняющий марксизм (разумеется, решение по данному вопросу зависит также от установок вышеупомянутого персонажа или инстанции власти о том, нужно ли что-то подобное марксистской интегрирующей схеме, и действительно ли устарел тезис: “учение Маркса верно”).<sup>10</sup> Есть и еще один момент, подтверждающий прочность связей современной российской интеллектуальной среды с марксистским или близкими ему способами мыслить. Будет справедливо сказать, что та традиция знания, которую в России любят – это левая традиция. В позднесоветские времена исследователи имели шансы лучше познакомиться с западным, франкфуртским и другими марксизмами, чем с более буржуазными школами. Пожалуй, и сегодня для “среднестатистического” российского культуролога “Новое” и даже “Авангардное” маркируются именами популярных французских мыслителей: М. Фуко, Р. Барта, Ж. Бодрийяра. Эти авторы также в значительной мере принадлежат политически левой интеллектуальной традиции и во многом связаны с марксизмом (прежде всего, через Л. Альтюссера). Поэтому, по-моему, нет ничего удивительного в том, что многими воспринимаются как самоочевидные усвоенные еще “в марксизме” представления. Таковыми являются, например, взгляды о том, что культура по сути едина (хотя бы в меру тотальной действенности “механизмов власти” Фуко и “буржуазного заговора” Барта), и что академическая деятельность должна иметь политическое звучание. Таким образом, применительно к логике происхождения российской культурологии и (с очень большой долей условности), применительно к старшему поколению ее представителей, можно констатировать весьма значительную инерцию предшествующих традиций российской и советской мысли. Эта инерция выражается прежде всего в стремлении предоставить универсальный синтез, некоторое схематическое и истинное знание. За подобным стремлением стоит весьма прочное в российской традиции и прошедшее марксистскую трансформацию представление об отвечающем на самые глубинные и личностные вопросы знании-истине. Это стремление нетрудно обнаружить и за такими ключевыми для российской культурологии словами как “междисциплинарность” и “синтез”.

Следует сказать также несколько слов о том, что различия между “старшим” и “младшим” поколением культурологов не так велики, как могут показаться на первый взгляд. Очень примечательные рассуждения приводят в

своей статье Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин, отмечая, что молодое поколение культурологов готово унаследовать очень много качеств советской интеллигенции.<sup>11</sup> Гудков и Дубин пишут, что в советском обществе интеллигенция занимала позицию псевдоэлиты, кадрового и легитимационного ресурса власти. При этом, часто разделяя оппозиционные взгляды, отечественная интеллигенция в практической жизни выбирала, с их точки зрения, сугубо созерцательную, далекую от ответственности и действия позицию. По мнению упомянутых авторов, влияние этой установки весьма сильно и в современной культурологии. В качестве иллюстрации они указывают, например, на достаточно распространенный (по крайней мере, в ИЕКе) “исторический эскапизм” (*формулировка моя – А.П.*).<sup>12</sup> Отмечается склонность молодых исследователей заниматься индивидуальными, курьезными (пусть даже в “лучшем” смысле слова) сюжетами, не рискуя и не желая вступать в зоны острых теоретических и этико-научных сомнений.<sup>13</sup> В данной статье еще придется вернуться к этой ситуации и поговорить не только о методологии “исследовательской свободы”, но и об исследовательской “свободе от методологии”. Сейчас же есть смысл констатировать, что и в сравнительно молодом поколении российских культурологов, и как раз на этапе их включения в научное сообщество и особенно острой потребности в научной самоидентификации, риторика и логика универсализма как важнейшей характеристики культурологии также занимает значительное место. Естественно, отчасти это создается доверием по отношению к вышеупомянутым старшим коллегам. Есть и еще одно объяснение, также преимущественно возрастного плана: на фоне еще не окончательно прочувствованного знания о беспределности разнообразия культурных феноменов осознанно или неосознанно хочется найти ту новую метлу, которая позволит быстренько смести всю историю культуры в единую обозримую и понятную систему.<sup>14</sup> Однако представляется, что помимо этих факторов есть и другие, связанные уже не столько с российской интеллектуальной традицией, сколько с рецепцией западных влияний, прежде всего, постмодернистского и релятивистского толка.

*Тезис о “свободе исследовательской субъективности”. Происхождение, функции и импликация.*

Как уже отмечалось, для самоописания российских культурологов очень важное значение имеет тезис о свободе исследования, говоря несколько иными словами – о свободе исследовательской субъективности.<sup>15</sup> Надо отметить, что это положение нередко встречается и в текстах культурологов того поколения, которое в этой статье называется “старшим”. Естественно, чаще всего оно попадает в вводных или методологических разделах, посвященных оправданию *своего* права на определенное видение культуры.<sup>16</sup> Кроме этого, подобный тезис может обозначать заостренно гуманистическое понимание культурологии и ее задач.<sup>17</sup> Иногда оно является более или менее экзистенциалистским, а иногда восходит к русской религиозной и иррационалистической философии. Тем не менее, в целом (по крайней мере, в более острых и “ударных” формулировках) намерение оправдать исследовательскую субъективность заметно скорее в текстах молодых культурологов.<sup>18</sup> Следует отметить, что подобный тезис, несомненно, имеет самое непосредственное отношение к проблемам власти, если подразумевать под последней любое принуждение, любое, тем более связанное с социальной констелляцией, предпочтение одного варианта другому, любое подчинение нормам, и в том числе степень, в которой исследователь принимает или не принимает нормы и традиции определенного сообщества. Независимо от степени распространенности подобной точки зрения, очевидно, что она выражает определенную позицию многих молодых культурологов, только пытающихся осознать, что именно влечет их в эту область знания. В оставшейся части статьи я постараюсь проследить причины формирования такого взгляда в дискурсе современных российских культурологов, показать его совместимость с другим описанным выше топосом самоописания российской культурологии – стремлением к универсализму, а также поставить вопрос о функциях этого тезиса об “исследовательской свободе” в текстах культурологов и о возможностях его эффективного использования.

В качестве причины, объясняющей желание культурологов бороться за исследовательскую независимость, в первую очередь приходит в голову воздействие теоретических влияний с Запада. Я бы взял на себя смелость сказать, что в середине 90-х, для моего поколения “немного за двадцать”,



словом-лозунгом оказался постмодернизм. Это слово подразумевало применительно к науке повышенную исследовательскую рефлексивность. От таковой, прежде всего, привыкли ждать красивого и убедительного крушения старых истин, претензий на доказательность и общезначимость вообще. Можно вспомнить, что интеллектуальным бестселлером 1996 года была признана книга В. Руднева “Винни-Пух и философия обыденного языка”: блестящий пример постмодернистской критики, успешной не потому, что она опровергает старые концепции, а потому, что она ими пренебрегает, смеется над ними. А если авторитетов больше нет, значит можно расковать собственную субъективность – в отборе как предметов, так и средств научного занятия. Этот тезис только на первый взгляд противоречит вышеупомянутой претензии на универалистскую глобальность обобщений. Свобода исследовательской деятельности, разумеется, никак не влечет за собой названную глобальность. Однако в обратном порядке, от универсализма к попыткам легитимировать исследовательскую субъективность, связь между ними есть. Представляется, что построить удовлетворительную концептуализацию мировой или отечественной культуры в условиях нарабатанной историософской и эпистемологической критики уже невозможно, если не принимать субъективность, пусть даже имплицитно, в качестве корректного исследовательского метода. Собственно, в теории знания XX века схожие мысли были проговорены достаточно четко: достаточно напомнить хотя бы постпозитивистскую философию науки и конкретно – П. Фейерабенда. Согласно этому автору, триумфальная история релятивизма является основанием не для того, чтобы ограничиваться строительством исключительно микронарративов или вообще покидать науку, но для того, чтобы успешно умножать новые варианты научной концептуализации.<sup>19</sup> Надо отметить, что диапазон этого акцентирования релятивизма и исследовательской субъективности мог быть достаточно широк. С одной стороны, можно напомнить об охарактеризованном выше понимании, достаточно агрессивном и по преимуществу нацеленном на критику. С другой стороны, есть позиция, сравнительно близкая к упомянутым в начале статьи “cultural studies”. В этом случае признание релятивизма означает лишь необходимость ставить исследуемый предмет во все более широкие контексты, искать, если пользоваться логическими терминами, не его раз и навсегда неизменное

“истинное” *значение*, но зависимый от фигуры и интересов интерпретатора *смысл*, неминуемо включенный в весьма пространные и дифференцированные горизонты исследующего субъекта. В какой-то мере это связано с развитием гуманитарного знания в XX веке как историей сменявших друг друга “поворотов”: “лингвистического”, “антропологического” и других.<sup>20</sup> Каждый из них нес с собой возможность добиться прироста знания не столько за счет радикально новой, только что открытой методологии, сколько благодаря распространению уже работающих в одной из гуманитарных отраслей стандартов и процедур на другие отрасли. Когда “относительность знания” истолковывается в этом ключе, акцент, очевидно, ставится, скорее, на конструктивности, чем на критичности исследовательской позиции.<sup>21</sup> Однако представляется, что акцентирование в культурологических текстах представления о “пользе” исследовательской субъективности надлежит описывать не только исходя из внутренних логических импликаций этого тезиса. Следует обратить внимание на реальную функцию, которую может выполнять проговаривание такого рода тезиса в устном и письменном дискурсе российских культурологов.

К сожалению, не обладая достаточной эмпирической базой, очень трудно ответить на вопрос, сопровождаются ли в культурологических работах заявки на новое, “свободное” исследование какими-либо действительно новаторскими методиками. Здесь следует учитывать специфику жанра научных текстов. Статьи, в которых появляются подобные обещания, как правило, являются своего рода методологическими манифестами, фиксацией сделанных на конференциях или в других дискуссионных формах реплик и сообщений. Неудивительно, что там допустим дискурс “методологии ради методологии”, когда автор берется выразить свои чаяния, отдавая предпочтение нормативному и желаемому плану перед планом конкретного исследования культуры. По культурологии публикуется не так много монографий, авторы которых видят себя, или хотели бы обозначить себя как культурологи (даже не поднимая вопроса о том, а присутствуют ли “искомые” субъективистские методы и в этих исследованиях). Однако, несмотря на отсутствие статистики, я склонен предполагать, что *в практике* современных культурных исследований в России существует довольно большой дисбаланс между методологическим

пожеланием “исследовательской свободы” и опытом сознательного и конструктивного применения “исследовательской субъективности”. Фактически, я позволил бы себе выдвинуть тезис (с опровержением которого я был бы очень рад познакомиться), состоящий в следующем. *Представление об “исследовательской субъективности” функционирует во многих культурологических текстах скорее в качестве риторического приема, некоторого “общего места”, и не указывает на то, что авторы этих культурологических исследований черпают для них основания в своей субъективности больше и иначе, чем это делали ученые “докультурологической” эпохи.*

Сама по себе интенсивность методологической субъективистской риторики, наверное, не является ни достоинством, ни недостатком. Причин для ее появления и активизации может быть приведено множество. Так, очень важно наличие изрядного методологического эклектизма как в мировом, так и (особенно) в российском исследовательском пространстве. В этой ситуации (действительно свидетельствующей о торжестве плюрализма исследовательских подходов) становится чрезвычайно трудно ориентироваться. Это связано и с высокой теоретической сложностью концепций и их нюансов, и просто-напросто с объемами научной литературы, с которой считал бы себя обязанным познакомиться работающий в рамках традиционной парадигмы ученый. В таких условиях исследователь действительно четче осознает относительность и произвольность выбора им определенных предметов и интерпретаций, и может обозначить свой неизбежный волюнтаризм как “исследовательскую субъективность”. Здесь надо остановиться подробнее, поскольку в дело вступают два немаловажных обстоятельства, имеющих прямое отношение к проблематике “интеллектуальной власти”, конфликта принятых стандартов “хорошего” мышления с оппозиционными. Во-первых, вопрос приобретает характерный этический аспект: “субъективизм”, реальный или декларируемый, может быть прочитан как свидетельство недобросовестности исследователя, который поленился освоить весь объем литературы по своей теме или по методологии ее исследования. Во-вторых, согласие или несогласие с такой оценкой влечет за собой необходимость задуматься о социологии научной деятельности: понять, действительно ли сообществом прodelывается такое количество работы, что ее усвоение уже

невозможно. В последнем случае мы оказываемся перед очень нелегким выбором: или надеяться на успех все большей и большей дифференциации тем,<sup>22</sup> или констатировать, что (гуманитарная) наука находится в глубочайшем и необоримом кризисе, или настаивать на пересмотре критериев качественного исследования в сторону большей субъективности как права исследователя говорить, “как если бы он был первым”. Однако эта субъективность вроде бы не отличается качественно от всех предшествовавших ей голосов, звучавших с позиций “объективности” и “научности”.

Второй блок причин, объясняющих целесообразность прибегать к риторике об “исследовательской субъективности”, связан с предотвращением возможной критики. Естественно, этот фактор более значим в постсоветском исследовательском пространстве.<sup>23</sup> В нем в большей мере сохранились носители и традиции агрессивно-фундаменталистских позиций, а “раздел территории” между представителями различных исследовательских подходов еще не зафиксировал стабильных очертаний. Российское академическое мышление, со всеми его вышеохарактеризованными качествами, настаивает, чтобы члены научного сообщества недвусмысленно провозглашали свою методологическую позицию. Требуется обозначить свою принадлежность к тому или иному теоретическому и ценностному лагерю (тем более на фоне не всегда проговариваемых, но имплицитно присутствующих требований или равняться на Запад, или превзойти его). В этих условиях нередко выбирают возможность сравнительно агрессивно заявить о “субъективности” как о легитимации своего исследования. Это является хотя и уязвимым, но, вероятно, более действенным средством, нежели выглядящее полным отказом от претензий на значимость своего голоса тотальное умолчание об основах своей методологии. Не следует думать, что такой ход мысли характерен для всех или даже для большинства российских культурологов. Важнее осознавать, что среднестатистический российский исследователь, как правило, не в состоянии остаться “над схваткой”. Он должен оказаться или в лагере убежденных приверженцев того или иного объективистского подхода, или в лагере “конкретных ученых, исследующих эмпирическую реальность и далеких от того, чтобы заниматься методологической софистикой”,<sup>24</sup> или же в лагере тех, кто неуверенно и в большой мере против своей воли, повинувшись необходимости самообороны, объединились под флагом “исследовательской субъективности”.

Против последних нередко работает указание на то, что неспособность более дифференцированно и конкретно пояснить легитимацию своей исследовательской методологии зачастую коррелирует со сравнительно более низким уровнем исследования и свидетельствует не столько о волюнтаризме, сколько о необученности. В то же время две других ориентации, уязвимые для обвинения в методологической наивности и архаичности, тоже производят довольно отталкивающее впечатление. Таким образом, мне представляется, что за декларациями сторонников “исследовательской субъективности”,<sup>25</sup> скорее всего, стоит восприятие существующей исследовательской ситуации как “смены парадигм”.<sup>26</sup> Новые результаты еще не доказаны, новые методы еще не отточены, но когда необходимо отстаивать саму возможность их появления на свет, не грех попытаться оспорить и содержание “старых правил” и саму идею правил вообще.

Подобная “революционная риторика” не является уникальной в истории гуманитарной мысли. Достаточно вспомнить о неокантианстве, хайдеггеровском экзистенциализме и одновременных ему намерениях немецких ученых 30-х годов построить новую науку, или о постструктуралистских заявлениях. Выносить на основании распространенности у российских культурологов характерной риторики диагноз о том, что в гуманитарном знании устанавливается или меняется парадигма, никак не входит в задачи предлагаемой статьи. В нижеследующих нескольких абзацах речь пойдет лишь о попытке представить себе (по-прежнему в той же модальности логического построения идеального типа) некоторую специфику существования топоса об “исследовательской субъективности” в современном научном пространстве.

Представляется, что колоссальное значение имеют изменения, связанные с технологической революцией в интеллектуальной деятельности. В особенности большую роль здесь играют распространение работы за компьютером и Интернета. Эти факторы существенно интенсифицировали производство вообще, а гуманитарных текстов в частности. Чрезвычайно расширился и расширится еще больше горизонт доступной для нас информации. Однако ее переизбыток влечет за собой и некоторые очень двусмысленные для традиционной формы науки последствия. Речь идет даже не о том, что назревает некоторое приближение логики научной деятельности к логике

работы поисковых машин Интернета (которыми часто пользуются исследователи для очередного выбора источников или литературы). Гораздо важнее уже отмечавшийся без упоминания технологических изменений момент того, что рушится старый позитивистский идеал науки. Он предполагал, что автором научного исследования будет человек, полностью овладевший источниками и литературой по определенной, да еще и общественно значимой, теме. Однако сохранение старых стандартов в новой ситуации ведет к симуляции того, что раньше понималось под научной работой. В худшем случае это выглядит как скачивание студентами рефератов из Интернета, а также как приведение в библиографиях к работам непрочитанных книг. В не столь этически однозначных ситуациях речь может идти о сокращении работы с литературой теми текстами, которые можно найти в Сети. Стоит отметить, что электронная форма существования текста влечет за собой и новые формы работы вместо сравнительно “сквозного” чтения и конспектирования докомпьютерной эпохи. Сейчас для понимания работ на иностранных языках часто пользуются компьютерными переводчиками, а нужные сюжеты в электронной публикации ищут по ключевым словам. Совершенно иначе конспектируется представленный в электронном виде текст - из него выкидывают все ненужное, как правило, не вставляя связок и собственных замечаний. Каждый исследователь (пока) прекрасно понимает разницу такого конспекта (механического, и при этом дословного) с традиционным. Наконец, постепенно завоевывает позиции новый жанр - исследование источников, расположенных в Сети. Это влечет за собой очень любопытные формы: опять-таки, от радикальной симуляции (создание в Интернете якобы независимых от исследователя, но подозрительно удобных для его анализа материалов) до весьма эффективной, с моей точки зрения, стратегии, когда исследователь выдает себя за обыкновенного, “наивного” участника форума или чата, а на деле подбивает своих собеседников к высказываниям, содержание или форма которых имеют непосредственное отношение к предмету анализа.

Однако помимо дополнительных возможностей, связанных с ростом объема доступной научной информации и с ее более виртуальным характером, компьютерная революция имеет еще один чрезвычайно важный параметр. При безмерно раскрывающихся горизонтах активной и беспроллемной коммуникации с коллегами по всему миру, имеет место и противоположная

тенденция. Происходит решительная индивидуализация научной деятельности. По масштабам происходящее изменение можно сопоставить с тем, какую интеллектуальную самостоятельность подарили европейцам “тихое чтение” и книгопечатание. Имея гораздо больше образовательных и информационных ресурсов, гуманитарий пользуется также новыми социальными возможностями. Он может находить среду единомышленников или круг читателей, а в оптимальном случае и источники финансирования, далеко за пределами сообщества, в котором он изначально был прочно социализирован в определенную систему власти. Большой вес индивидуального труда и менее строгий контроль сообщества (наряду со всеми вышеупомянутыми релятивистскими завоеваниями) опять-таки способствуют тому, что исследовательская субъективность приветствуется. Наконец, следует отметить еще одно, пожалуй, наиболее важное изменение. Интернет решительным образом подрывает эзотеричность и замкнутость научного сообщества, или, по крайней мере, требует его переорганизации ради сохранения этих качеств. Сейчас практически каждый может повесить во всемирную Сеть свой текст, и этот текст будет исправно предоставляться поисковыми машинами, ищущими литературу по определенной теме. В новой ситуации никакие барьеры и фильтры неспособны сохранить прежнюю систему иерархии и селекции научных исследований.<sup>27</sup> В перспективу тотального и компетентного рецензирования появляющейся в Интернете научной и околонучной литературы также верится с огромным трудом. В любом случае, непарадигмальные и несколько (или вопиюще) некачественные исследовательские тексты, которые раньше оставались неопубликованными и недоступными, теперь переходят в модус всего лишь “неоцененности” специалистами. Это, несомненно, повлияет на сообщество; по крайней мере, на его подрастающее поколение. Стоит заметить также, что возможность без особых хлопот опубликовать свой текст резко понижает ценность формальной социализации в гуманитарное сообщество.<sup>28</sup>

### *Заключение*

Все вышесказанное о социальных и технологических параметрах момента, в котором сейчас иногда звучит тезис об “исследовательской субъективности”, позволяет сделать вывод: нынешняя ситуация довольно сильно отличается от

уже имевших место исторических аналогов. Если внедрение компьютеров и Интернета в исследовательскую работу связано с возможностями сильнейшей индивидуализации гуманитарного труда, то риторика “исследовательской субъективности” перестает быть сравнительно безобидным “общим местом”. Приходится платить за выполнение необходимых функций: облегчить смену парадигм; объединить не удовлетворенных старой парадигмой гуманитариев; прикрыть их от слишком жесткой критики со стороны консерваторов. Требования предоставить “исследовательскую свободу” сравнительно часто сопровождаются сравнительно низким уровнем осуществляемых исследований (по крайней мере, с точки зрения традиционного представления о научности). В этих условиях представляется целесообразной работа в двух направлениях. Прежде всего, следует задуматься, стоит ли сохранять стандарты “старой науки”: как в том плане, *достойны* ли эти стандарты сохранения, так и с точки зрения того, *возможно* ли их сохранить. Этот вопрос, конечно же, нельзя решать без очень тщательного исследования социальных параметров ситуации гуманитарного знания в начале XXI века. Российская культурология как научная практика представляется здесь одним из весьма перспективных полигонов для исследования (и, тем более, саморефлексии). Если традиционное представление о научности сохраняется в целом, или в своих существенных аспектах - поиск некоторой не полностью конструируемой наблюдателем истины, осуществляемый в соответствии с определенными методическими правилами - приходится начинать выполнять другую задачу. Она может состоять в том, чтобы *специфицировать* различные нюансы, нередко скрытые под общей шапкой риторики о “свободе исследования” и об “исследовательской субъективности”. Как кажется, проведенное размышление позволило разграничить три различных конструктивных варианта использования этого топоса. Во-первых, он может обозначать сознательное намерение исследователя говорить “первым голосом”, якобы непосредственно “ex fontibus”. Подобная презумпция нередко представляется оправданной в современной ситуации переизбытка исследовательской литературы; хотя, наверное, ее следует использовать с сугубой осторожностью, признавать ее откровенно “оправдывающуюся” функцию и не смешивать с намерениями конструктивного использования исследовательской субъективности. Во-вторых, следует помнить о том, что вышеупомянутая переориентация части гуманитариев на поиск



смысла, а не значения культурных феноменов, на их исследование в ясно осознаваемой зависимости ученого от конкретных теоретических контекстов и его опыта предпочитаемых методологических “поворотов”, также нередко влечет за собой упоминание “исследовательской субъективности”. В данном случае последняя будет обозначать момент сравнительно волюнтаристского выбора исследователем одной интерпретационной перспективы в ущерб другим. Необходимо, однако, отметить, что и здесь “исследовательская субъективность” упоминается “всуе”: не качественно, как некоторый специфический инструмент интеллектуальной деятельности, а механически, как указание на то, что выбор одного или нескольких способов анализа был продиктован не столько качествами объекта, сколько ситуацией и волей исследователя.<sup>29</sup> Наконец, случай герменевтических и феноменологических культурологических исследований, когда субъективность автора действительно является тем орудием, при помощи которого он стремится вступить в диалог с исследуемым предметом и добиться некоторого существенно нового знания о предмете или о себе, не рассматривался в данной статье.<sup>30</sup> Если же “исследовательская субъективность” упоминается только ради выражения согласия с релятивистской аргументацией в адрес объективистских концепций или же для демонстрации высокого и уважительного мнения ученого-гуманитария о человечестве вообще и каждом его представителе в частности, подобное словоупотребление может ввести в заблуждение. Этим не только провоцируется критика адептов других позиций из-за опасности низкокачественного исследования, но и создается некоторая иллюзорная методологическая общность там, где ее на самом деле нет. В этом случае кажется обоснованным совет воздерживаться от (вербального или имплицитного) обращения к концепту об исследовательской свободе и субъективности - если, конечно, автору данной статьи не будут в изобилии предъявлены примеры, свидетельствующие о весьма успешном и аутентичном применении “исследовательской субъективности” в современных гуманитарных исследованиях (и в частности – в российской культурологии).

---

<sup>1</sup> Вполне в соответствии с теорией “идеального типа” М. Вебера. См. например, Вебер М. “Объективность” познания в области социальных наук и социальной политики // Культурология. XX век. Антология. М., 1995; стр. 580 – 581.

<sup>2</sup> В данной статье понятия “старшее” (поколение) и “молодые” (культурологи) используются без кавычек, но условно, как обозначения вовсе не астрономического возраста, но определенных позиций, полюсов в самоидентификации российской культурологии. Следует также оговорить, что когда речь идет о “молодых культурологах”, под ними преимущественно имеется в виду лучше всего знакомое автору исследовательское сообщество Института Европейских Культур (ИЕК).

<sup>3</sup> Дебатам об определении и сущности культурологии уделено немалое место в таких сборниках работ молодых культурологов, как, например, “Культура XX” (Москва, 2001; подготовлен в ИЕК и состоит преимущественно из работ выпускников и преподавателей) или “Выбор метода. Изучение культуры в России 1990-х годов” (Москва, 2001; подготовлен по материалам конференций 2000 года в РГГУ). Эти публикации активно использовались как источники при работе с предлагаемой статьей.

<sup>4</sup> Очень часто “культурология” противопоставляется “конкретным культурологическим наукам”, как это делается, например, в учебнике “Философия культуры. Становление и развитие”. Спб., 1998, стр. 10 и сл. Сами авторы охотно пользуются вынесенным в заглавие учебника словосочетанием “философия культуры”, но употребляют его как синоним “культурологии” и не избегают говорить о “философско-культурологическом знании”.

<sup>5</sup> Там же, стр. 9 – 12.

<sup>6</sup> См., например, Волкова Э.Н. Основания выбора метода культурологического исследования (подходы М. Полани и П. Флоренского; Круглова Л.К. Интегративная роль антропологического принципа в культурологии; Пигалев А.И. “Деконструкция” и “диалог” как стратегические альтернативы культурологического исследования; Яковенко И. Г. Методологические аспекты цивилизационных исследований, и ряд других статей в вышеупомянутом сборнике “Выбор метода”.

<sup>7</sup> Степанов Б.Е. Культурология как строгая наука, или Утешение философией // Мат. конференции “Культурология – наука XXI века”. В печати.

<sup>8</sup> Такое понимание автоматически вызывается попытками всеобъемлющего и “синтезирующего” определения “культуры” как предмета изучения. См., например, цитируемые А.А. Беликом определения культуры как “образа жизни”, “совокупности элементов”, “суммы мышления и поведения” и т.д. – Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 1999, стр. 12 – 13.

<sup>9</sup> См. Философия культуры, стр. 10, 12; Культура. Теории и проблемы. М., 1995, стр. 7.

<sup>10</sup> В этой статье нет смысла специально останавливаться на достаточно избитой теме преемственности персонального состава российских культурологов с преподавателями и сотрудниками кафедр “научного коммунизма”. Следует разве что отметить, что эта связь могла быть не только “прямая”, когда множество людей стало развивать “теорию культуры”, потому что так стала называться их ставка, но и “превращенная”. Авторы учебных курсов и пособий, получив возможность выйти за пределы марксизма, пламенно захотели найти и рассказать свою истину, куда лучше марксистской (и нередко ей противоположную). При этом они нередко оставались в рамках вполне марксистских представлений о том, как должно быть организовано знание, и какие задачи оно должно решать. Мне кажется, отсюда (как, конечно же, и из

понимания культурологии как в первую очередь учебной и только потом научной дисциплины) происходит, например, популярность цивилизационного подхода (который можно успешно противопоставить столь же схематичному формационному). Из тех же источников произрастает и “обязанность” усматривать в исследованиях культуры некоторый гуманистический пафос. Наконец, не будет недостатка и в примерах учебников и стратегий преподавания, в которых марксизм, лишь более или менее смягчив свойственные советским временам рекомендации к прямому действию, достаточно полно сохранялся в качестве объяснительной модели.

<sup>11</sup> Гудков Л.Д. Дубин Б.В. Молодые “культурологи” на подступах к современности // Новое Литературное Обозрение. № 50. М., 2001, стр. 159.

<sup>12</sup> Там же. См., например, стр. 152, 154.

<sup>13</sup> Там же. Следует отметить, что подобная позиция имеет довольно много сторонников в российской гуманитарной среде, причем, скорее, в ее более “продвинутых” сообществах. Так, пожалуй, наиболее близкий к западным исследовательским программам журнал российских историков “Казус” видит своей целью исследование именно отдельных, своеобразных исторических фактов. См., например, первые номера журнала “Казус” или материалы конференции в октябре 1998 г. “Микро- и макроподходы к изучению прошлого” (“Историк в поиске”, М., 1999).

<sup>14</sup> Можно привести весьма характерную цитату: “Схематизм и глобализм как неизбежные характеристики данного пространства (культурологии – А.П.) сами по себе не несут отрицательных коннотаций”; Самутина Н.В. Новое пространство гуманитарного знания // Культура XX, стр. 93. Как уже говорилось, цитируются работы “молодых культурологов”, написанные тогда, когда они только социализировались; став полноправными членами научного сообщества, те же Н. Самутина или Б. Степанов, в личных беседах с автором статьи характеризовали свои взгляды 1999 года как “гипертрофированные” и “юношеские”.

<sup>15</sup> “Центральное для молодых культурологов утверждение решающей значимости субъективного” (Гудков Л.Д. Дубин Б.В. Молодые “культурологи” на подступах к современности, стр. 151). В рамках предлагаемой статьи хотелось бы воздержаться от споров о синонимичности словосочетаний “свобода исследования”, “исследовательская субъективность”, “свобода исследовательской субъективности” и т.д., а также от других терминологических объяснений: по поводу того, исследуется ли “тезис”, “термин”, “дискурс”, “смысл” или “концепт”. Достаточно указать на то, что последние обозначения лучше указывают на предмет внимания; речь гораздо больше идет о некотором смысловом образе, чем (в духе “Begriffsgeschichte”) о встречающихся в устойчивой форме словосочетаниях.

<sup>16</sup> См., например, Культура. Теории и проблемы, стр. 8.

<sup>17</sup> См., например, Белик, Ук. соч., стр. 6, а также раздел, посвященный теориям культур психолого-антропологической ориентации в 70 – 80-е годы.

<sup>18</sup> Позволю себе еще одну цитату из статьи Н.В. Самутиной: ““Взгляд” в культурологических исследованиях занимает место “метода”, мало чтимого в гуманитарном знании после Гадамера и Фейерабенда. ... Ключевые характеристики этого поля – принципиальное многообразие и неиерархичность”. Самутина Н.В. Новое пространство гуманитарного знания // Культура XX, стр. 91 - 92. Очень любопытно сравнить эту опубликованную,

---

уже смягченную, форму с начальным текстом, с которым я имел возможность ознакомиться: “Ключевыми словами, описывающими качество культурологического пространства, будут слова *свобода, выбор, сравнение, изменение*, а также *терпимость*” (курсив Н. Самутиной).

<sup>19</sup> Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Благовещенск, 1998, стр. 38.

<sup>20</sup> См. Зверева Г.И. Роль познавательных “поворотов” второй половины XX века в современных российских исследованиях культуры // Выбор метода, стр. 11 - 20.

<sup>21</sup> Такое понимание, в выраженной форме восходя к неокантианцам и М. Веберу, достаточно распространено в гуманитарной гносеологии и продолжается у К. Маннгейма, в феноменологической социологии и т.д.

<sup>22</sup> Если бы ценой за это оказалось только растущее отчуждение исследователей друг от друга (Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту! // Историк в поиске, стр. 159), возможно, с этим стоило бы согласиться. Мне, однако, представляется, что подобная сверхспециализация будет малоэффективна, поскольку она требует полного пренебрежения методологией (т.к. иначе неминуемы претензии к освоению всего корпуса пусть уже не предметной, но теоретической литературы, касающейся темы исследования). Выполнение подобного требования выглядит невозможным.

<sup>23</sup> Это суждение является в значительной мере декларативным, поскольку я никак не могу претендовать на удовлетворительное знание устройства американского или западноевропейских научных сообществ.

<sup>24</sup> К сожалению, такие высказывания чаще существуют в устной форме, и у меня нет возможности привести здесь какую-либо достаточно яркую аутентичную цитату. Однако я думаю, что любой читатель статьи (добравшийся до этого места) неоднократно обращал внимание на риторику подобного рода во время самых разных конференций, обсуждений и т.п.

<sup>25</sup> Вероятно, кроме тех случаев, когда эти декларации заимствованы из чужих текстов совершенно автоматически или являются данью не столько осознанию гносеологической проблематики, сколько безмерному преклонению перед свободой, правами и вообще достоинством человека.

<sup>26</sup> Так, как это делается у гуманитариев. Т. Кун, как известно, был очень осторожен в вопросе о том, имеют ли место описанные им процессы функционирования “нормальной науки” и, в частности, смены парадигм, в гуманитарном знании.

<sup>27</sup> Отчасти это уже видно: ищущие в Интернете литературу по своим курсовым и дипломным темам студенты регулярно находят, читают (?) и включают в свои библиографии тексты, недостаточно высокий научный уровень которых они не в состоянии распознать самостоятельно. Таким образом, обучение молодого поколения сообщества выходит из под контроля прежней научной системы, уровни компетенций в которой были регламентированы гораздо более жестко.

<sup>28</sup> Это особенно заметно на фоне общемирового падения престижа гуманитарных наук и весьма низкой оплаты труда гуманитариев в постсоветском пространстве (тем более, что “заказ на идеологическое обеспечение власти” стал гораздо менее стабильным).

<sup>29</sup> При этом существует некоторый тип исследований, когда стоящий в центре внимания объект, вернее, представление о нем, описывается как результат взаимодействия культурных горизонтов источника и исследователя; поскольку

---

при такой методологии культурная позиция и субъективность современного ученого неизбежно привлекают к себе исследовательское внимание, подобный, очень перспективный, вариант следует признать граничащим с действительно конструктивным использованием концепта “исследовательской субъективности”.

<sup>30</sup> В виду имеются исследования, подобные, например, книге Р. Барта “Camera Lucida” или лекциям М.К. Мамардашвили о Канте, Декарте и Прусте. Хотелось бы обратить особое внимание на отличие этих текстов от работ, выполненных в стиле “наивной герменевтики”: когда автор видит в том, что он называет своими “ощущениями”, “интуицией” или “субъективностью” основания для суждений о вовсе не касающихся его сознания предметах. Показательно, что представление о научности у адептов подобных позиций, как правило, настолько не развито, что они и не усматривают в характере легитимации своих построений никакого противоречия с существующими методологическими парадигмами.